

«ГИГАНТСКИЙ КРОТ», ИЛИ К ЛОГИКЕ ОДНОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ТУПИКА

Отправной точкой для размышлений, которые последуют далее, является вопрос о модели, регламентирующей процесс коммуникации в современных сообществах. Здесь мы попытаемся с позиций современной философии проанализировать две истории, которые, благодаря открывающимся между ними соответствиям, дополняют и разъясняют друг друга. Сходство этих историй, одна из которых является литературной фикцией, а вторая действительной полемикой вокруг телевизионной мистификации, обладает слишком систематическим характером, чтобы его можно было счесть простой случайностью или очередным следствием человеческой глупости. За ним следует искать нечто большее, общую структуру, которая в обоих случаях воспроизводится и контролирует распределение коммуникативных позиций. Анализ, который будет предпринят ниже, имеет целью обнаружить эту матричную схему под лабиринтными речами, образующими собою ткань одного рассказа Кафки.

Сравнительно недавно по российскому телеканалу «Культура» был показан документальный фильм под названием «Подземный крейсер» (И. Ушаков, 2009). В фильме рассказывается невероятная история: история советского крейсера, представлявшего собой нечто подобное подводной лодке, с тем лишь отличием, что она передвигалась не под водой, но под землёй. Соблюдая нейтральный тон, свойственный дискурсу историка и в целом научному дискурсу, комментатор посвящал зрителей в детали секретного проекта советского Министерства обороны. По его утверждению, первый советский проект, имевший целью создание «подземного крота», увидел свет вскоре по окончании Второй мировой войны. Однако работы были приостановлены по истечении нескольких месяцев под давлением высокопоставленных функционеров, ответственных за атомный проект. Они были возобновлены лишь десятилетие спустя, уже в шестидесятые годы. По утверждению создателя фильма, осуществление проекта потребовало строительства специального завода, размещённого в Крыму. Первая модель боевого крота была готова к испытаниям к весне 1964 г. Поскольку крот был секретным объектом, он не был запечатлён кинохроникой. Это был «титановый цилиндр с заострённым носом и кормой, диаметром три метра и длиной двадцать пять». Согласно автору фильма, экипаж крота состоял из пяти человек. По его уверениям, машина могла перевозить до пятнадцати бойцов и тонну вооружения на скорости до пятнадцати километров в час. Боевой задачей крота было объявлено обнаружение и уничтожение подземных объектов, командных пунктов противника и пусковых шахт ядерных ракет. Важнейшим преимуществом нового оружия считалась возможность атаковать внезапно, поскольку машина оставалась недоступной для существовавших на тот момент средств обнаружения. К шестидесятым годам советские подводные лодки уже достигали берегов США, и именно их намеревалось использовать советское командование для доставки боевых машин к берегам Соединённых Штатов. По утверждению журналиста, испытания крота развёртывались на Урале. Выбор в пользу этого региона, сделанный командованием, он объяснял свойствами местного грунта (его большей плотностью), а также необходимостью

преодолевать достаточно серьёзные расстояния, что было невозможно в Крыму. Осенью 1964 г. в ходе первых испытаний машина, официально названная «боевым кротом», легко преодолела около пятнадцати километров и разрушила подземный бетонный бункер условного противника. Энергия, необходимая для перемещения машины, вырабатывалась ядерным реактором на борту. Как следует из фильма, «результаты испытаний поразили даже бывалых военных. Новое оружие выглядело фантастикой, но фантастикой в действии». Однако в ходе повторных испытаний на борту машины произошёл взрыв, приведший к гибели экипажа. Эта катастрофа, заключал автор, а также чрезмерная стоимость машины повлекли за собой отказ от проекта, детали которого остаются секретными вплоть до сегодняшнего дня.

Фильм вызвал оживлённую дискуссию среди военных специалистов и, главным образом, любопытствующей публики. Во мнениях не было недостатка. Если, со своей стороны, автор фильма подчёркивал собственно исторические цели своего «телевизионного расследования», то другие участники интернет-дискуссии, при всём их согласии с журналистом в главном, а именно в том, что гигантский крот существовал в действительности, не могли отказать себе в удовольствии заглянуть по ту сторону т. н. «открытия». По их утверждению, появление крота, само осуществление данного проекта – квалифицированного как «сверхъестественный» – в такой стране, как Советский Союз, не могло быть чем-то иным, нежели знаком, несущим «патриотическое», если не мессианское содержание. Впрочем, те, кто поверил в существование крота, оказались в меньшинстве. Чудовищность машины, а равно существование столь крупного объекта, могущего перемещаться под землёй, казались невероятными. Аргументы же скептиков были следующими: принимая во внимание плотность земли в регионе испытаний, заявленная в фильме скорость передвижения объекта была невозможной. Кроме того, автор фильма не смог предъявить удовлетворительных доказательств существования крота, и его материалы ограничивались несколькими фотографиями, причём не самой машины, а оставленных ею следов.

Эту историю, как и последовавшую за ней полемику, можно было бы считать малоинтересной, если бы она не входила в неожиданную параллель с другой историей, литературной фикцией, увидевшей свет столетием раньше. Этот фильм, а также распределение ролей вокруг него в целом идентичны тем, что были описаны в рассказе Кафки, известном главным образом под названием «Гигантский крот». Впрочем, это заглавие ошибочно: оно было дано Максом Бродом в момент публикации сборника «Описание одной борьбы». В рукописном наследии Кафки рассказ озаглавлен «Деревенский учитель». Три фрагмента, составляющие этот неоконченный рассказ, были написаны в декабре 1914 г. после того, как работа над «Процессом» зашла в тупик¹.

¹ Дневниковые записи, относящиеся ко времени создания «Деревенского учителя», говорят о сильных сомнениях автора в жизнеспособности этого рассказа.

Запись от 26 декабря 1914 г.: «Сегодня вечером почти ничего не написал, и, может быть, больше не в состоянии продолжать “Деревенского учителя”, над которым я теперь работал неделю и которого я, несомненно, в три свободные ночи начисто и без внешних недостатков довёл бы до конца; теперь он, хотя он почти в начале, имеет уже две несправимых недостатка и, кроме того, чахнет».

Запись от 19 декабря 1914 г.: «Начало каждой новеллы, прежде всего, смехотворно. Кажется безнадежным, что этот новый, ещё незавершённый, повсеместно чувствительный организм сможет удержаться в завершённой организации мира, которая, как всякая готовая организация, умирает вслед за тем, как закрывается. Конечно, мы забываем при этом, что новелла, если она уполномочена, несёт в себе свою готовую организацию, даже если она ещё полностью не развернулась. Поэтому отчаяние на этот счёт перед началом новеллы не

Этот рассказ в пятнадцать страниц повествует о споре вокруг существования гигантского крота, чьё появление было замечено недалеко от маленькой деревни, удалённой от железных дорог. Из-за этого открытия деревню начинают посещать любопытствующие. Визитёры приезжают издалека, даже из-за границы. Письменное изложение случая с кротом поручено старому школьному учителю. Он публикует книгу, озаглавленную «Крот столь большой, какого ещё не видел никто» (*Ein Maulwurf, so groß, wie ihn noch niemand gesehen hat*). Книга продаётся туристам, которые охотно её покупают. Однако, как это часто случается, сенсационность события понемногу сходит на нет. В итоге только старый учитель не отказывается от того, что он именует своим «открытием» (*die Entdeckung*). Противостоя насмешкам скептиков, он продолжает доказывать существование животного и превращает это занятие в задачу своей жизни. Он остаётся единственным защитником (*der Fürsprecher*) феномена вплоть до того момента, когда к нему совершенно неожиданно присоединяется адепт, молодой коммерсант из города (от его лица и ведётся повествование). Заворожённый кротом и мучимый отвращением к нему одновременно, повествователь берётся помочь учителю. Однако последнему не удаётся сделать из него своего «апостола». Между персонажами, каждый из которых обладает своим методом доказательства существования животного, устанавливаются непонимание и соперничество. Учитель подозревает коммерсанта в том, что тот хочет украсть его открытие. Коммерсант, со своей стороны, обвиняет учителя в желании извлечь пользу из открытия, коммерциализировать его².

Рассказ остаётся маргинальным в корпусе текстов Кафки и интерпретации, предметом которых он стал, немногочисленны. Тем не менее мы можем выделить две основные линии, которые полностью противопоставляются друг другу.

Подавляющее большинство специалистов интерпретируют этот рассказ как критику науки и пародию на учёный спор, инсценирующую дискуссию двух лжеучёных о том, что никогда не существовало в действительности.

Интерпретаторы, разделяющие эту точку зрения (собственно говоря, эмпирическую) показывают, что идея новеллы пришла писателю после прочтения статьи Мориса Метерлинка, посвящённой «Эльберфельдскому коню» (*dem Pferd von Elberfeld*). Эта «обширная» и «философски обоснованная» статья была опубликована в «Neuen Rundschau» в 1914 г. Она рассказывала историю Карла Краля и его опытов над животными. Среди вопросов, интересующих учёную публику в начале прошлого столетия, немаловажное место было отведено вопросу о том, способны ли животные к мышлению. В 1904 г. житель Берлина Вильгельм фон Остен заявил, что его конь Ганс (получив-

оправданно. Точно так же должны были отчаиваться родители перед грудным младенцем, поскольку хотели принести в мир не это жалкое и главное смешное существо. Правда, мы никогда не знаем, является ли отчаяние, которое мы испытываем, оправданным или нет. Однако это соображение может дать известную поддержку, отсутствие этого опыта мне уже повредило» (*Kafka F. Dichter über ihre Dichtungen*. Herausgegeben von Erich Heller und Joachim Beug. München, 1969. S. 88–89).

В итоге сомнения подтвердились: рассказ (один из лучших у Кафки) так и не сумел развиться в законченное произведение. То, с чем мы имеем дело, представляет собой руины литературного проекта, или, если воспользоваться органической метафорой самого Кафки, организм, зачахший вскоре после рождения.

² Здесь и далее ссылки на рассказ Кафки даются по изданию: *Кафка Ф. Гигантский крот* / Пер. В. Топер // *Кафка Ф. Собр. соч.*: В 4 т. Т. 4. СПб., 1995. С. 127–140. В случаях, важных для данного прочтения, перевод был уточнён по изданию: *Kafka F. Beschreibung eines Kampfes und andere Schriften aus dem Nachlaß*. Frankfurt a/M., 1994. S. 154–170.

ший прозвище «Умного Ганса», *der kluge Hans*) умел считать, читать, различать цвета, и т. д. Экспертная комиссия, сформированная по этому случаю прусским Министерством по делам культов (*Kultusministerium*), вывела публику из заблуждения, заключив, что ответные реакции коня зависели от скрытых знаков, подаваемых тем, кто задавал вопросы. Однако опыты были возобновлены в 1908–1911 г. в Эльберфельде человеком по имени Карл Краль, чьи кони Мухаммед и Зариф стали известны как *die denkende Pferde von Elberfeld*, «думающие кони из Эльберфельда». Опыты Краля имели целью опровергнуть результаты берлинской экспертизы. Полный энтузиазма Метерлинк писал по этому поводу: «События приняли энергичный и решающий ход, и противники чуда обнаружили на месте усталого старика, ворчливого и наполовину обезоруженного нелюдима (т. е. Вильгельма вон Остена. – Д.С.), молодого страстного человека, который воодушевлён замечательным инстинктом исследователя, тонко образован и способен защищаться»³.

Сторонники эмпирического прочтения берутся показать, что Кафка, не заимствуя сюжета, воспользовался некоторыми элементами статьи Метерлинка, введя их в другой контекст. В этом случае рассказ Кафки следует воспринимать как аналогию флоберовскому «Бувару и Пекюше», но без энциклопедического измерения, свойственного проекту Флобера. Так же как и флоберовские чиновники, учитель и коммерсант, очевидно, образуют собой комическую пару с научными претензиями. Провал, на который обречена попытка персонажей, объясняется, в этом случае, неприятием *опыта*, свойственным их псевдо-научному методу: они утверждают наличие феномена (гигантского крота), даже не подумав проверить его подлинность, найти животное. Сам крот не появляется в рассказе, персонажи лишь обсуждают *то, каким образом следует доказывать его существование*⁴.

С этой точки зрения мотивы, заставляющие писателя заменить «учёного» коня гигантским кротом, следует искать в его личном «опыте» (*Erlebnis*). Подобная замена представляется результатом многочисленных влияний, например, встреч самого Кафки с кротами, рассказа писателя Эрнста Хардта «Утренние сумерки» о встрече писателя и крота, а также истории, поведанной Кафке его шурином⁵. Многочисленные обстоятельства накладываются друг на друга так, что заставляют писателя заменить одно животное другим: замена, не имеющая важности для логики рассказа, который есть не что иное, как простая сатира, демонстрирующая глупость персонажей и абсурдность их поступков.

Вторая интерпретация рассказа, предложенная специалистами по Кафке, является *grosso modo* трансцендентальной⁶.

Она стремится закрепить за Кафкой точку зрения, согласно которой вещи, которые не могут найти своего объяснения в эмпирическом существовании, не привлекают к себе внимания и проходят незамеченными. Не все события могут войти в систему знаний, поскольку функционирование этой

³ Binder H. Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn, 1966. S. 136.

⁴ Binder H. Kafka-kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München, 1975; Binder H. Kafka. Handbuch I. Der Mensch und seine Zeit. Stuttgart, 1979; Binder H. Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn, 1966; Binder H. Kafka. Der Schaffenprozeß. Frankfurt a/M., 1983; Peter André Alt. Franz Kafka. Der ewige Sohn. Eine Biographie. München, 2005.

⁵ Имеется в виду рассказ шурина Кафки, вернувшегося с войны за несколько недель до написания «Деревенского учителя». См. запись от 4 ноября в Дневнике: «Вернулся П. Кричит, возбуждён, неистовствует. Его рассказ о кроте, который рылся под ним в окопе, – он счёл это божественным знаком, повелевающим ему уйти с этого места. Едва он отошёл, пуля попала в солдата, который пополз вслед за ним и находился в этот момент над кротом».

⁶ Emrich W. Franz Kafka. Bonn, 1958, а также Kraft H. Mondheimat. Kafka. Pfullingen, 1983.

системы неизбежно носит избирательный характер. Вследствие этой избирательности, которая также является исключением, некоторые знания маргинализируются. Носителю этих знаний, тому, кто стремится свидетельствовать о феномене, отведено место существа неразумного, и отведено оно теми, кто в современных обществах удерживает монополию на *ratio*, – учёными или журналистами.

Так, чтобы заявить о своём открытии, учитель отправляет свой труд в региональный сельскохозяйственный журнал. Но вместо того, чтобы произвести желаемый эффект, его работа вызывает насмешки. Позднее коммерсант, ведомый тем же желанием свидетельствовать, отправляет свой собственный труд о кроте в тот же журнал. Не пожелав войти в детали, сотрудники редакции принимают его работу за работу учителя. Их вердикт неумолим: «Нам снова прислали статью о гигантском кроте. Помнится, много лет назад мы уже всласть посмеялись над ней. За это время она не стала умней, а мы не поглупели. Но смеяться во второй раз мы не можем. Зато мы можем задавать учительским союзам такой вопрос: неужели деревенский учитель не может заняться чем-нибудь более полезным, чем гоняться за гигантским кротом?»⁷

Если же вещь всё же включается в систему знаний, она кодируется, переставая быть «событием». Низведённая до уровня эмпирического феномена, она неизбежно превращается в собственную карикатуру. Учитель приходит к печальному выводу: «Любое открытие незамедлительно увязывается со всей совокупностью наук, после чего оно в некотором роде перестает быть открытием, оно растворяется и исчезает в целом»⁸. Открытия немедленно историзируются и релятивизируются, включаются в систему отношений, которая нейтрализует их сверхэмпирическую значимость.

Учитель приходит к учёному, которому он пытается доказать существование животного. Учёный заявляет, что не находит в «открытии» учителя ничего сверхъестественного и объясняет феномен следующим образом: «В вашей местности ведь особенно черная и плотная земля. Вот кротам и достается особенно жирная пища, и они становятся необыкновенно (*ungewöhnlich*) большими»⁹. Объяснение, данное учёным, является эмпирическим. В то же время оно воспроизводит с точностью до наоборот аргументацию скептиков, ставящих под сомнение существование советского боевого крота, приводя в качестве довода плотность земли в регионе. Однако комментатор, разделяющий «трансцендентальную» точку зрения, идёт дальше, добавляя: объяснение учёного является «вульгарно» эмпирическим, в своём эмпиризме оно граничит с глупостью. Обладающий истиной персонаж (учитель или коммерсант) обречён на неудачу, поскольку он сталкивается с непроходимой глупостью собеседника. Перед лицом этой глупости персонаж чувствует себя бессильным. После встречи с учёным учитель возвращается домой ни с чем и должен рассказать близким о своей неудаче.

Если вторая, «трансцендентальная» интерпретация кажется более уместной, она всё же останавливается на половине пути. Это прочтение, превращающее Кафку в противника современного *ratio*, на деле всего лишь производит перестановку в эмпирическом прочтении рассказа. Оно располагает истину в речах учителя и коммерсанта, показывая глупость их оппонентов, лжеучёных и мнимо просвещённых журналистов. Также как и эмпирическое прочтение, «трансцендентальное» прочтение основано на уверенности в том, что можно обладать монополией на истину, при том, что последняя по-

⁷ Кафка Ф. Гигантский крот. С. 133.

⁸ Там же. С. 138.

⁹ Там же. С. 129.

нимается как нечто устойчивое и однозначное. Это прочтение не доходит до того, чтобы расположить истину в «пропасти», разделяющей эмпирическое и трансцендентальное, которые, как напоминает Лиотар в «Распре», суть лишь два «дискурсивных рода» (*genres de discours*)¹⁰.

Вопреки тому, что говорит нам трансцендентальная интерпретация, учёный, объясняющий сверхъестественные размеры крота свойствами земли, не глуп и не наивен. В действительности, разговаривая с учителем, он не принимает его всерьёз. Кафка добавляет: «учёный, которому всё это казалось очень забавным (*spaßhaft*)»¹¹. Ирония есть не что иное, как средство, блокирующее коммуникацию и показывающее, что диалог, «учёная» дискуссия не может иметь места. Коммуникативный тупик этого разговора представляет собой случай распри между двумя дискурсивными родами: эмпирическим и трансцендентальным. Учитель испытывает на себе действие «неправоты»¹², вызванной иронией учёного.

Тем же объясняется и неблагоприятный приём сочинений о кроте в редакции журнала. Реакция журналистов ни в коей мере не является критикой. Для того, чтобы критика имела место, необходимо общее пространство, «сцена» коммуникации. Но эта сцена как раз отсутствует. «Свидетель» не признаётся в качестве собеседника, достойного внимания. Смех вместо ответа, смех в продолжение разговора делает учителя жертвой «неправоты». Мы присутствуем при том, что Лиотар называет «распрей» между дискурсивными родами. Ни сторонники события, ни его противники не могут быть названы глупцами, а т. н. глупость есть лишь комический эффект, возникающий в тот момент, когда персонаж пытается перевести собственные высказывания на язык «другого».

Кроме того, трансцендентальное прочтение оставляет без внимания другую распри, которая, при ближайшем рассмотрении, оказывается более фундаментальной для структуры рассказа, чем предшествующая. Помимо распри, разделяющей «учёное сообщество» и «свидетелей», в рассказе присутствует распря, разделяющая самих «свидетелей».

Здесь следует избегать очередного упрощения. Помимо прочтений, рассмотренных выше, существует ещё прочтение, принадлежащее Вернеру Крафту, которое можно было бы назвать «субъективным» или «экзистенциальным». Оно представляет конфликт учителя и коммерсанта как борьбу двух «эго», замкнутых лишь на себе самих и не отсылающих ни к каким теоретическим позициям. Минуя эпистемологическую линию рассказа, оно утверждает, что «важность отдельного открытия для науки существенно зависит от первооткрывателя и от способности добиться успеха в борьбе за признание. Как новое произведение искусства, вещь подчиняется хаотическим законам личного вкуса»¹³. С этой точки зрения «Деревенского учителя» не следует относить к группе рассказов о животных, написанных Кафкой, как не следует считать его сатирой на науку. Сам крот становится лишь «нарочито гротескным объектом», введённым для того, чтобы разрабатывать моральную проблематику в связи с научной. Рассказ в этом случае представляется как «более глубокая» сатира, как критика отчуждения и неспособности оказать содействие. Также к этой линии можно было бы отнести истолкование,

¹⁰ Lyotard J.-F. Le Différend. P., 1983.

¹¹ Кафка Ф. Гигантский крот. С. 129.

¹² Речь идёт о понятии *le tort*, которое используется как Лиотаром, так и Рансером и не попадает под юридическое определение «морального вреда».

¹³ Kraft W. Franz Kafka. Durchdringung und Geheimnis. Frankfurt a/M., 1968. S. 35–41.

предложенное Вальтером Бенямином, по словам которого «в *Гигантском кроте* животное не показывается совсем», а «речь идёт исключительно о человеческих, этических отношениях»¹⁴.

Однако рассматривать конфликт между свидетелями как личный конфликт – значит помещать следствие впереди причины. Настоящая причина столкновения коренится в совершенно различном отношении свидетелей к событию, тогда как его личностная окраска возникает лишь *a posteriori*.

Учитель руководствуется логикой науки. Его словарь и его отношение к событию мало отличаются от тех, что свойственны учёным. Он говорит о своём «открытии» и дорожит своим приоритетом первооткрывателя; его верность убеждениям (*das Überzeugungstreue*) не свободна от личной заинтересованности. Доказать существование крота означает для него ввести феномен в систему знаний. В его представлении крот является научным феноменом, который должен, в конечном итоге, занять своё место в системе знаний, найти свою ячейку в научной классификации.

Со своей стороны коммерсант¹⁵ не имеет никаких амбиций первооткрывателя, его мотивы настолько «ненаучны», насколько можно себе представить. Он не оспаривает у учителя его приоритет первооткрывателя. Он пытается сделать так, чтобы его чувства, его страх и изумление были разделены другими. «Все те – в том числе и я, – говорит рассказчик, – кому даже самый обычный, маленький крот кажется омерзительным, наверное, умерли бы от омерзения (*vom Widerwillen*), доведись им увидеть гигантского крота, появившегося несколько лет назад вблизи маленькой деревушки...»¹⁶. Рассказчик видит больше остальных: с самого начала он подозревает чудовищный характер события. Его позиция является позицией пророка, ведомого желанием «выговорить» событие, свидетельствовать. Именно это событие заставляет его написать книгу. Книга становится местом записи истины, которая, в глазах свидетеля, не сводится к простому эмпирическому знанию. Его книга, по сути, является *священной* книгой. Действие неправоты, которое испытывает повествователь, когда журналисты принимают его книгу за книгу учителя, тем более велико, что разница между обоими сочинениями действительно очень значительна. В рассказе Кафки персонаж отправляет свой труд не только в редакцию, но также некоторому числу лиц в надежде на их инициацию. Инициация терпит неудачу, и рассказчик пытается вернуть свою книгу обратно. Пытаясь отозвать книгу, он стремится не защитить себя от насмешек, но избежать профанации книги¹⁷. Таким образом, конфликт между

¹⁴ Benjamin über Kafka. Texte, Briefzeugnisse, Aufzeichnungen. Herausgegeben von Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a/M., 1981. S. 96. Однако для Бенямина важно отношение человека к закону, а отчуждение между персонажами представляет собой следствие их принадлежности к разным нормам легитимации.

¹⁵ В первой редакции рассказа *der Beamter*, чиновник. Кафка сам служил как *Beamter* в течение некоторого времени.

¹⁶ Кафка Ф. Гигантский крот. С. 127.

¹⁷ Жан-Луи Деотт выделяет, вслед за онтологией культурного плюрализма, развитой Лиотаром в «Распре», три нормы легитимации: повествование, откровение и обсуждение. Повествование, свойственное т. н. «первобытным» обществам, имеет в качестве «аппарата» рассказ, а в качестве предпочтительного носителя записи закона человеческое тело. Вторая норма, откровение, осуществляется несколькими аппаратами и фиксируется в книге, которая, в силу этого, становится священной. «Когда закон дан в виде откровения (монотеистические религии) или неотделим от экзистенциального пути мудреца (Будда), он обречён на бесконечное комментирование *на полях* священного текста. В монотеистических религиях дарование смысла происходит через запись закона бесконечности в конечной книге, которая в силу этого становится священной, что влечёт за собой необходимость *посредника*, благодаря которому бесконечное вписывается в конечное. Эта фигура

свидетелями не имеет в себе ничего частного, но отсылает к архетипическому конфликту между нормами легитимности, структурирующими высказывания индивидов. Если учитель находится «внутри» «обсуждающей» нормы, то коммерсант, с момента своего обращения, зависит от совершенно гетерогенной ей нормы, которой является откровение. Его знание о кроте не имеет никакой необходимости в подтверждении, как имеет необходимость в подтверждении научное знание. Оно может быть лишь предметом веры. Если распря, отделяющая эмпирическое от трансцендентального, учителя и учёного может в конечном итоге быть артикулирована, может быть переведена в «разногласие» (учитель может получить доступ к социальному признанию посредством эстетических процедур, описанных Рансьером¹⁸), то подобный исход невозможен в случае с распрей, разделяющей учителя и коммерсанта. Если событие «воплощено», оно не может быть репрезентировано согласно правилам, употребляемым в научной или юридической практике.

Вопреки тому, что нам говорит эмпирическое прочтение (которое обязательно является учёным прочтением), замена в рассказе коня кротом не является случайной. Как только что упоминалось, в глазах коммерсанта появление крота вовсе не нуждается в подтверждении. Оно в корне пресекает саму логику, которая требует этого подтверждения, она парализует ту эпистемологическую структуру (которая является одновременно юридической доктриной), которая прикрепляет истину события к очевидности его доказательств. С приходом чуда эпистемологическая связь, соединяющая событие с его доказательствами, оказывается ослабленной и даже разорванной. Гигантский крот является существом, которое взрывает эмпирический горизонт, структурирующий в каждое мгновение жизнь индивида. Будучи подземным животным, крот не доступен для человеческого взгляда большую часть времени. Как отмечает Беньямин, животные, появляющиеся в рассказах Кафки, «всегда такие, которые живут в недрах земли (*im Erdinnern*) или, по крайней мере, – как жук в “Превращении” – на земле (*auf dem Boden*), забившись в её щели и трещины»¹⁹. Появление крота рассматривается как

посредника может быть фигурой “Сына божьего”, богочеловека. Эта фигура получает в христианстве особое определение, определение воплощения, а следовательно, инкорпорации. Инкорпорация закона была задумана святым Павлом как “обрезание сердца”. (...) В монотеистических религиях необходимость посредника влечёт за собой необходимость *свидетелей* посредника, которые расскажут о его словах и деяниях. Это религии свидетельства (Евангелие, и т.д.), а стало быть, уже и интерпретации (...). *Déotte J.-L. Qu'est-ce qu'un appareil? Benjamin, Lyotard, Rancière. P., 2007. P. 42–43.*

В свою очередь, обсуждение предполагает, что закон, который провозглашается «автономным», становится предметом дискуссии между действующими лицами политического процесса. См. также: *Déotte J.-L. L'époque des appareils. P., 2004.*

¹⁸ *Rancière J. La Méésentente. P., 1995.* В этой работе Рансьер суммирует свои предшествующие размышления о путях достижения равенства. Согласно Рансьеру, подлинная политика протекает не в структуре консенсуса и согласия относительно распределения долей в сообществе, но в структуре конфликта и «разногласия» (*la méésentente*). Разногласие имеет эстетическую природу: правящие *не видят* в обездоленных равноправных партнёров по диалогу, поскольку те не показываются как *эстетически* равные. Рансьер полагает, что в ходе разногласия обездоленные могут выступить на политическую сцену и получить признание в качестве политической группы, *показав*, что они разделяют то же *чувственное*. По Рансьеру, подобным образом поступили римские плебеи, которые, в борьбе за политическое признание, повели себя как равные патрициям, удалившись на Авентин для совещания.

¹⁹ Benjamin über Kafka. Texte, Briefzeugnisse, Aufzeichnungen. S. 43–44. Крот присутствует ещё в одном рассказе Кафки, «Нора» (*der Bau*). Однако здесь ему отведена совсем иная роль: он утрачивает свою запредельность и оказывается «по эту сторону» повествования. Читателю предложено взглянуть на мир его глазами. Именно этот рассказ имеет в виду Беньямин, когда пишет: «Можно следовать за такими историями животных весьма дли-

событие, трансверсальное по отношению к обыденному течению вещей, как его радикальное прерывание. В появлении крота обязательно присутствует измерение, ускользающее от рассудка, который, как известно со времён Канта, соотносится с эмпирическим миром и задачей которого является нахождение его правил. В глазах того, чьё восприятие не обусловлено проективными аппаратами, крот является, вероятно, посредником между эмпирическим и надэмпирическим, обыденным и исключительным, человеческим и нечеловеческим. Неожиданный распад ординарного, становление свидетелем «запредельности», присутствие при раскрытии, которое не должно было иметь места, вызывает чувственный шок. Чувство, испытываемое наблюдателем при виде крота, характеризуется амбивалентностью, присущей чувству, которое испытывают перед сакральными объектами.

Власть приостанавливать рутину повседневного представляет собой основную причину, по которой крот становится одной из излюбленных фигур для тех, кому закон дан в виде откровения. Этот способ восприятия вещей *отчасти* присущ и самому Кафке, чьи дневники повествуют о нескольких встречах с кротами. В 1904 г. Кафка присутствует при сцене, которую он описывает в письме Броду от 28 августа того же года. Собака Кафки стала преследовать крота. «Вначале, – пишет Кафка, – это позабавило меня, и волнение крота, который совершенно-таки отчаялся и безуспешно искал яму в твёрдой земле улицы, было мне весьма приятно. Но внезапно, когда собака опять ударила его вытянутой лапой, он вскрикнул. “Кс, ксс” – кричал он. И тогда мне показалось – нет, мне ничего не показалось»²⁰. Другая дневниковая запись отмечена тем же смешанным чувством: «Однажды я поймал крота и понёс его в хмельник (*Hopfengarten*). Когда я отбросил его, он кинулся словно в ярости в землю и исчез, как будто погрузился в воду»²¹. В рукописном пассаже (позднее вычеркнутом) Кафка говорит, что отвлечение (*der Widerwille*) к кротам имеет «непостижимые основания, потому что мягкий тёмный мех, нежные ножки, заострённая заботливо сформированная мордочка, которую мы видим у него, не являются отвратительными»²².

Эта констатация вовсе не означает, что следует реабилитировать интерпретацию творчества Кафки, предложенную Максом Бродом. Согласно Броду, Кафка является еврейским пророком, который в определённый момент жизни познал опыт откровения. Брод пытается сблизить творчество Кафки с книгой Иова, утверждая, что оба «пророка» «наделяют мир совершенства негативными знаками»²³. Как известно, теологическое прочтение Кафки стало предметом критики Беньямина по причине производимой им схематизации. Согласно Беньямину, прочтение Брода представляет собой

тельное время, вообще не замечая, что здесь идёт речь совсем не о людях. Как только потом мы сталкиваемся в первый раз с именами животных – мышь или крот, – мы приходим в себя с неким шоком и замечаем, что удалены от континента людей уже далеко» (Benjamin über Kafka. S. 43). Русский перевод *der Bau* (собственно, «строение») как «Нора» невыгоден тем, что сразу предупреждает читателя о том, что рассказчик не человек, а животное.

²⁰ Politzer H. Franz Kafka, der Künstler. Gütersloh, 1965. S. 465.

²¹ Binder H. Kommentar. S. 187.

²² Emrich W. Franz Kafka. Bonn, 1958. S. 146.

²³ По мнению Брода, Кафка сближается с Иовом. Сравнивая их, Брод пишет: «Намерение обоих авторов, естественно, одно и то же. Должна быть описана гетерономия Бога, то, что неизмеримо в человеческом масштабе. Эту гетерономию обыкновенно пытались представить лишь путём бесконечного наращивания положительных сторон: больше света, чем можно себе представить, обширнее и сильнее чем тот, что способен воспринять человек. Кафка делает постижимой инаковость совершенного мира посредством надления его негативными знаками». См.: Brod M. Franz Kafka. Eine Biographie (Erinnerungen und Dokumente). 2. Auflage. N.Y., 1946. S. 224.

«совершенно странное уклонение от мира Кафки, почти что (...) его канцелярскую обработку (*Abfertigung*)»²⁴. Эта характеристика применима ко всем нео-бродовским интерпретациям, которые пытаются объяснить, почему плохой иудаизм Кафки был хорошим иудаизмом, и шире, ко всякому прочтению Кафки, выделяющему одну из его идентичностей в ущерб другим²⁵.

В случае с «Гигантским кротом» следует избегать ловушки, которая состоит в отождествлении автора с рассказчиком. Кафка заботится о том, чтобы дистанцироваться от речей своего персонажа: он показывает, как рассказчик вовлекается в порочный круг соперничества и ненависти, забывая важность собственной миссии. Истину не следует вкладывать в уста коммерсанта, как не следует вкладывать её в уста учителя или учёного. Кафка отказывается мыслить истину как однозначную и закреплять её за кем бы то ни было. Кафка показывает, что современное общество и именно современное общество (согласно Рансьеру, пребывающее в эстетическом режиме искусств, позволяющем артикулировать любую неправоту) распадается на гетерогенные дискурсивные рода²⁶.

Если Кафка устанавливает этот культурный «диагноз» с большей убедительностью, чем кто-либо, то лишь потому, что сам он, более чем другие, ощущает на себе его действие. Кафка интериоризировал «распря», сделал из неё свой способ восприятия и письма. Это случай, когда распря между дискурсивными родами разделяет не индивидов между собой, но индивида с самим собой. Делёз и Гваттари видят в Кафке писателя со смещённой идентичностью, чье письмо является революционным именно в силу этого смещения²⁷. Между тем более закономерно видеть в Кафке пленника его многочисленных идентичностей. Его страдания и его сила как писателя имеют общее происхождение, а именно, вопреки утверждению Делёза и Гваттари, невозможность «детерриторизироваться». Он чувствует себя неспособным ускользнуть ни от одной из идентичностей, иннервирующих его полииден-

²⁴ Benjamin über Kafka. Texte, Briefzeugnisse, Aufzeichnungen. S. 40.

²⁵ В «нео-бродовских» прочтениях недостатка нет. См., например: *Cohen L. Variation autour de K. Pour une lecture juive de Franz Kafka*. P., 1991. Здесь недостаточность иудаизма Кафки оправдывается двумя причинами: плохим здоровьем, помешавшим ему отправиться в Палестину, а также чрезвычайно низким мнением писателя о себе самом: «Как женщины, как литература, Палестина располагается на шкале Добра столь высоко, что она автоматически оказывается *недоступной*. (...) Когда Кафка написал это письмо (одно из писем Броду, где говорится о желании посетить Палестину. – Д.С.), сионизм не был чужд ему уже в течение долгого времени. Он читает главным образом на иврите. Еврейский вопрос находится в центре его размышлений. В этом его жизнь действительно изменилась. Тем не менее он всегда сталкивается с единственным мнением, которое он составил о себе самом и которое крайне уничижительно» (Ibid. P. 131).

²⁶ Если «Гигантский крот» показывает распря между тремя дискурсивными родами и двумя нормами, которые их легитимируют, обсуждением и откровением, то рассказ «В исправительной колонии», интерпретация которого предложена Лиотаром в книге «Детские прочтения», останавливается на распре между обсуждающей нормой и повествованием.

Западный путешественник присутствует при процедуре записи закона на теле осуждённого. Процедура осуществляется специальным механизмом, снабжённым бороной со стеклянными иглами. По истечении шести часов, тело осуждённого, который умирает от потери крови, сбрасывается в ров.

Процедура наказания ставит западного наблюдателя в тупик, поскольку он видит в ней акт бессмысленной жестокости. Однако эта жестокость не лишена смысла. В то же время это не смерть, «данная как спектакль» с целью показать право суверена на жизнь подданного, о которой говорил Мишель Фуко. То, что квалифицируется как экзекуция, на деле является моментом торжества нарративной нормы. Это момент, когда закон, переданный предками в повествовательной форме, записывается на своём носителе, человеческой коже (*Lyotard J-F. Lectures d'enfance*. P., 1991. P. 35–59).

²⁷ *Deleuze G., Guattari F. Kafka. Pour une littérature mineure*. P., 1975.

тичное эго, которые вовсе не тяготеют к растворению, а противоречат друг другу согласно модели, описанной Лиотаром в «Распре». Переход от одной нормы легитимности к другой, их конфронтация и взаимозамена осуществляются в дискурсе Кафки в каждый момент и по поводу всякого референта. Когда он видит крота, он принимает его за знак, но тотчас меняет норму и крот перестаёт быть в его глазах тем, чем он был мгновение назад, чтобы «объективироваться» и стать таким же животным, как остальные. Пессимизм Кафки не является пессимизмом не услышанного пророка. Гораздо более его пессимизм является разочарованием (которое можно было бы назвать «пост-современным» в смысле Лиотара), которое сопровождает упадок общей нормы, позволяющей гетерогенным дискурсам встретиться.